

УДК 81.373.45

Андреас Эббингхаус *

ОБРАЗ БОРИСА ГОДУНОВА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ (XVII–XIX ВВ.)

В статье рассматриваются особенности изображения Бориса Годунова в русскоязычных агиографических текстах, наиболее ранний из которых датируется началом XVII в. Раскрывается принцип влияния традиций средневекового исторического мышления (например, сопоставление Бориса и Святополка) и агиографии (жизнеописаний святого Дмитрия). Это влияние проявляется на уровне агиографических концептов (например, интерпретации образа Лжедмитрия через мотив исторического возмездия за смерть царевича Дмитрия), а также на уровне репрезентации исторических фактов (например, обстоятельств смерти Бориса Годунова). Далее статья отвечает на вопрос, насколько отношение Карамзина (в «Истории государства Российского») и Пушкина (в трагедии «Борис Годунов») определило образ Годунова, ставший основополагающим для историографии.

Ключевые слова: Борис Годунов, «История государства Российского», Царевич Дмитрий Иванович, Лжедмитрий, агиография, историография, «Иное сказание», Смута, Пушкин.

1.

В настоящей статье предпринимается попытка ответить на вопрос, в каком соотношении находятся различные концепции восприятия великих исторических фигур Российского государства в ранних письменных свидетельствах, историографии и литературных текстах XIX века. Ограничивается ли роль этих концепций использованием исторических сведений в качестве основы для того или иного более позднего текста? Не обладают ли эти концепции потенциалом оказывать обратное влияние на историописание, модифицируя и обогащая его?

Одним из любопытных примеров функционирования различных концепций является образ Бориса Годунова, первого русского царя, не принадлежавшего царской династии Рюриковичей. В хрониках своих потомков Годунов носил клеймо подозреваемого в самых страшных преступлениях — прежде всего заказном убийстве царевича Дмитрия Ивановича. При этом в научной историографии его личность была частично реабилитирована. Годунов стал также объектом литературных интерпретаций, наиболее известной из которых является трагедия А.С. Пушкина.

Взошедший на царский престол после свержения Лжедмитрия князь Василий Шуйский, очевидно, не сразу пришел к идее клеймить Годунова. Организованное им восстание против Дмитрия II Шуйский после собственного воцарения (май 1606 г.) объясняет исключительно близостью Лжедмитрия с римским папством и намерением самозванца ввести в государстве чужую религию. В наиболее ранних документальных источниках [1, с. 300–306] фигура Годунова, а также убийство царевича Дмитрия в Угличе не упомянуты вовсе. Однако при этом низвергнутого царя именуют *растрогой* (монахом, лишенным духовного сана),

который *назвался* Дмитрием Ивановичем и обманым путем захватил трон. Лишь в свидетельстве от 21 мая говорится, что (настоящий) царевич был убит Борисом Годуновым [1, С. 306–308] и вскоре был канонизирован как святой мученик. Эта по своей сути политическая мера была направлена не против самого Годунова, а против Лжедмитрия. Известно, что Шуйский не имел твердого основания власти, некоторые города не признавали его в качестве нового царя. Ходили слухи о том, что Дмитрию II удалось избежать нападения, он остался в живых и готовит свое возвращение на трон [2, S. 256]. Канонизация святого Дмитрия должна была разоблачить самозваного Лжедмитрия.

Репутации Годунова, был, таким образом, на продолжительное время подписан приговор. Так же как для византийских правителей-иконоборцев, для образа Годунова не существовало шанса быть оцененным справедливо. Историописание тех времен использует фигуру Годунова в контексте разоблачения Лжедмитрия, а также именует его убийцей последнего из Рюриковичей. В связи с этим деятельность Годунова долгое время рассматривается как объект доносов и связывается исключительно с фигурой Лжедмитрия. Другие факты времени его правления остаются при этом без внимания. Основой для возможности соотнесения образов Годунова и Лжедмитрия становится идея исторического возмездия Немезиды, которое претерпел низвергнутый Годунов за (мнимое) покушение на настоящего царевича Дмитрия Ивановича, на весь род Рюриковичей. Политическое решение Шуйского канонизировать Дмитрия превращает Дмитрия II в самозванца, а Годунова в святоубийцу. В данной историографической модели святоубийцу Годунова настигает месть истории, орудием которой оказывается Лжедмитрий.

* © Эббингхаус А., 2017

В первых исторических сказаниях – в «Повести како отомсти» или же «Повести како восхити» (незначительно переработанной второй редакционной версии [3; 4]) этот мотив четко выражен:

«Видев же сия, недреманное всевидящее око Христос, яко неправдою восхити скифетр Росийския области, и восхоте ему отмстити пролитие неповинные крови новых своих страстотерпцов: просявашаго в чудесах царевича Дмитрея и царя и великаго князя Феодора Ивановича всеа Русии [...]» [3, с. 244].

Первый источник вмещает сокращенный вариант этого предложения в заголовок:

«Повесть како отомсти всевидящее око Христос Борису Годунову пролитие неповинные крови нового своего страстотерпца благовернаго царевича Дмитрея Угличскаго» [3, с. 241].

В рамках данной концепции Годунов, согласно типологическому восприятию истории в Средние века, соотносится со старозаветным, новозаветным и исторически русским прототипом: 1) Годунов схож с библейским *змеем-искусителем* [3, с. 241]. Лексическое поле «прельщать» («прелестник») становится продуктивным для описания многих фактов деятельности Годунова, например найма исполнителей убийства в Угличе. Данный аспект образной модели Годунова остается релевантным долгое время; 2) Годунов приравнивается к *предателю*: подобно тому, как Иуда Искариот действовал против своего наставника Иисуса Христа, Годунов выступил против своего правителя, царевича Дмитрия [3, с. 243]; 3) Годунов становится *вторым Святополком*, являвшимся убийцей братьев-князей Бориса и Глеба («О, лукавый Борисе, второй Иуде по преданию и второй Святополче по святоубийству!» [3, с. 243]). В обоих ранних текстах отсутствует информация о том, как именно был убит царевич Дмитрий. При этом в обеих версиях имеются идентичные упоминания о смерти самого Годунова: в апреле 1605 года, т. е. незадолго до победы Отрепьева (Лжедмитрия I), царь покончил жизнь самоубийством через отравление («и скорее смертоносным зелием упои себе» [3, с. 246]), увидев, что его воеводы перешли на сторону Лжедмитрия. Кончина Годунова подобна смертям в трагедиях: плохой правитель заблаговременно накладывает на себя руки, понимая, что власть ускользает от него и впереди неизбежно ожидает возмездие. История самоубийства с помощью яда сохраняется во многих более поздних источниках, например в работах Конрада Буссова [5, с. 69] и Мартина Бэра [6, с. 42]. Мотив самоубийства Годунова надолго закрепится в традиции историописания и до конца изжит не будет. Однако с точки зрения исторических событий эта версия смерти Годунова представляется маловероятной. Так, Карамзин всячески опровергает ее, приводя убедительные аргументы [7, стлб. 105 и др.]. Возможно, версия самоубийства стала производной из модели змея-искусителя, который, направив агрессию на себя, принимает собственный яд.

На особенности последующей традиции историописания явное влияние оказала агиография.

Объединение исторического и агиографического описаний несколько преобразует утвердившуюся модель интерпретации фигуры Годунова. В тексте так называемого «Иного сказания» происходит механическое соединение «Повести како отомсти/восхити...» и первого жизнеописания святого Дмитрия. Составление жизнеописания датируется 1607 г., оно сохранилось в минеях Германа Тулупова [8, с. 83 и др.; 14]. Происхождение отдельных частей текста восходит к обоим названным источникам. Несмотря на это, в результате их слияния возникает связный текст, без разделяющих его части заголовков. Заголовки фигурируют лишь в третьей составляющей комплексного произведения – подлинных исторических документах [9].

В том числе благодаря интеграции жизнеописания святого Дмитрия в «Ином сказании» появляются новые «факты».

1. Одним из новых «сведений» становится следующее обстоятельство: в стремлении избавиться от царевича Годунов отправляет в Углич яд («многажды же и смертоноснаго яда вкушение злоторным умышлением посылая» [9, 1907, стлб. 7]). Искуситель Годунов *снова* имеет дело с ядом, однако объектом его применения является уже не он сам, а жертва его ненависти – царевич Дмитрий.

2. Тем не менее Дмитрий погибает не от отравления, а от рук наемных убийц («злочестивыи тии юноши нападше на святаго, един же от них извлек нож, напрасно удари святаго по выи его и пререза гортань ему» [9, 1907, стлб. 8]). Описанная история смерти царевича распространится в последующей традиции историописания. Вопрос о том, насколько она соответствует действительности, остается нерешенным. Вероятно, в этой версии нашло отражение свидетельство из официальных документов расследования, констатировавших смерть Дмитрия от удара ножом. Происхождение этого мотива возможно также объяснить сопоставлением с историей Святополка: подобным образом – от ножа, приставленного к горлу поваром, – скончался князь Глеб.

3. Следующим вновь возникшим «фактом» становится обращение жаждущего воцарения Бориса Годунова к *волхвам и звездословам* [9, 1907, стлб. 10 и др.], приглашенным в Москву из разных стран. Использование мотива отступления от религии в пользу астрологии и веры в силу звезд имело своей целью изобразить Годунова вне настоящей веры («всяк бо веруя звездослови[ю] враг Божий есть» [9, 1907, стлб. 11]). И хотя с исторической точки зрения не существует оснований сомневаться в набожности православного Годунова, суеверность приписывается ему также и в известном историографическом описании Н.М. Карамзина¹, а позже в пьесе А.С. Пушкина, однако происхождение этого мотива, очевидно, связано с возникшей в агиографической традиции установкой оклеветать Годунова.

4. Отрывок, посвященный карательной акции царя в отношении жителей Комарицкой волости, которые перешли на сторону Отрепьева, изображает практически библейский гнев государя. Годунов, *изливая свой гнев и ярость, многими мучениями без*

пощады мучал и убивал так, как этого не делали и *поганые иноплеменные народы* («яко же и иноплеменницы погании языцы тако не могут творити, яко же царь Борис гнева своего ярость излия» [9, 1907, стлб. 34]). Вероятно, этот мотив послужил расширению концепции образа. Фигура Годунова больше не связывается с *хитростью* (в параллели со *змеем-искусителем*), а все чаще сводится к понятию *жестокости*. Простым жителям Москвы, подержавшим Лжедмитрия, он приказывает *вырезать языки* («И за сия их глаголы языки резати повеле» [9, 1907, стлб. 38]). Через текст Карамзина [7, Т. IX, гл. II, стлб. 103, прим. 303] этот мотив попадает в драму А.С. Пушкина «Борис Годунов» (сцена *Кракков. Дом Вишневецкого*). На вопрос, почему никто никогда не слышал о чудесах, творившихся у могилы маленького царевича, агиографическое описание утвердительно отвечает, что Годунов угрожал смертью тем, кто желал поведать об этом другим.

5. При изображении смерти Годунова «Иное сказание» сохраняет версию его самоубийства через отравление, дополняя, однако, информацию в существовавших ранее источниках указанием, что *все тело его, как уголь, почернело* («и всему телу во уголь почерневшу и виду его» [9, 1907, стлб. 39]).

Наряду с этой распространенной версией о смерти Годунова вскоре появляется альтернативный мотив, согласно которому государь принимает смерть не по своей воле, а в результате подагры — согласно некоторым источникам, во время приема иностранных послов в Золотой палате. Впервые данная версия встречается, по всей вероятности, в источниках иностранного авторства: в тексте Жака Маржерета, который благодаря близким отношениям с Годуновым, скорее всего, знал о его болезни: «*mourut d'une apoplexie*» [10, с. 118], а также Ганса Георга Пайэрле [6, с. 173] и в русскоязычных источниках — «Новом летописце» (текст датируется концом 1620х гг.) [11, с. 63], и во многом основанной на его данных «Повести о многих мятежах» (текст составлен ок. 1658 г.; был использован Пушкиным) [12, с. 88]. Встречающееся у Карамзина изображение умирающего в Золотой палате Годунова, у которого изо рта и ушей струится кровь, из всех упоминаемых им источников соотносимо, очевидно, лишь с текстом Жака Огюста де Ту [6, ч. III. 1832, с. 138], а также с составленным изначально на польском языке письме Лжедмитрия, адресованном Ежи Мнишеку [7, Т. XI, гл. II, стлб. 104 и др., прим. 304]. Другие источники, которые приводит Карамзин, свидетельствуют лишь об апоплексическом ударе, но не о кровотечении. Этот настолько же сомнительный мотив проникает в пьесу Пушкина (в соответствии с цензурой того времени струящаяся кровь не становится объектом театрального изображения и упоминается лишь словесно в двадцатой сцене *Москва. Царские палаты*).

Имеет ли эта версия смерти Бориса Годунова что-то общее с исторической реальностью? Является ли она более обоснованной, чем версия самоубийства? Утверждать этого нельзя. Однако данная версия представляется наиболее удовлетворительной в свете новой модифицированной модели

изображения Годунова. Библейская модель теряет свою убедительность, тогда как историческая модель приобретает популярность и расширяет свои перспективы: если прежде Годунов сравнивался со Святополком, то теперь возможным оказывается сопоставление его с Иваном IV. Чем более жестоким воспринимается Годунов, тем более настойчиво он ассоциируется со своим пред-предшественником.

2.

Обратимся к сочинению Н.М. Карамзина «История государства Российского», оказавшемуся столь значительным для историографии России. Карамзин, известный своим скептическим отношением ко многим источникам, относит приписываемые Годунову злодеяния (например, мнимую вину в смерти царя Федора) в разряд клеветы на царя [7, Т. XI, гл. III, стлб. 124, прим. 366]. Очевидно, он также отрицает мотив видений умирающего царя Федора² и факт устранения Годуновым пожара, возникшего вскоре после убийства Дмитрия [7, Т. X, гл. II, стлб. 83]. Карамзин осознает проблему расхождения сведений в разных источниках и в случае наличия той или иной информации лишь в поздних текстах иногда отмечает это в сноске. Так, например, в одной из сносок можно найти следующее указание: высказывание убийц царевича о том, что Годунов являлся их наемником, встречается только в некоторых поздних московских хрониках³ [7, Т. X, гл. II, стлб. 78 и далее, прим. 232]. Этот случай — показательный пример взаимосвязи основного текста произведения и сносок. Факт сосуществования текста и ссылок несправедливо воспринимался как противоречащий принципу исторического повествования. Однако в томах, посвященных временам правления царя Федора, Бориса Годунова, Лжедмитрия и Василия Шуйского, сноски так же, как и в современных научных текстах, предоставили Карамзину возможность дать указание на источники, а также на дополнительный материал, обратить внимание на существование альтернативных преданий и высказать свое мнение относительно их соотношения.

Тем не менее в отношении святого Дмитрия Карамзин излагает свою позицию непоследовательно. Убийство царевича в 1591 году он изображает, основываясь прежде всего на исторических источниках, в которых еще не существовало знания о канонизации Дмитрия. При этом о вскрытии могилы царевича в 1606 году он пишет, опираясь на (частично вымышленные) *минеи-четьи* (от 3 июня) и документы, которые хотя и были изданы в «Собрании государственных грамот и договоров» [1], но, очевидно, являются отчасти фальсифицированными. Таким образом, для Карамзина до 1606 года не существовало понятия о святом Дмитрие, однако как автор, повествующий о Борисе Годунове в моралистическом тоне, историк в нескольких местах упоминает «святоубийцу» и «святую кровь Дмитрия» и т. п.⁴ С точки зрения (средневековой) религии Дмитрий уже при жизни являлся неузнанным святым, однако с точки зрения историописания такого

допущения сделать нельзя. В этой связи приобретает силу высказывание Пушкина в адрес Карамзина о том, что «это был наш первый историк и наш последний летописец» (1830 г.). От исторически обоснованных свидетельств Карамзин (в эпизодах появления Лжедмитрия и канонизации царевича Дмитрия) переходит к моделям трансцендентности, говоря о небесном наказании и объясняя появление Лжедмитрия возмездием за убийство настоящего наследника, и интерпретирует историю так же, как древнерусские источники, — через понятия религии.

Большой интерес представляет то, как Карамзин поступает с историей смерти Годунова. Как уже было упомянуто выше, автор отвергает версию самоубийства через отравление. Он, основываясь на других источниках, пользуется мотивом апоплексического удара и сохраняет указание на кровотечение из ушей и рта⁷. Для средневекового автора эта деталь могла бы стать символом силы трансцендентности, которая, управляя ходом истории, во всеобщее наущение жестоко наказывает преступника. Карамзин же, очевидно, не придает этой детали значения. Кажется, для него это не больше, чем просто медицинский нюанс, сопровождающий факт удара, поразившего царя. Символическое значение для него приобретает другое обстоятельство — то, что Годунов скончался *на троне*, а не будучи пленником или жертвой Лжедмитрия. Смерть *на троне* Карамзин интерпретирует как награду за благословенные поступки Годунова для России:

«...вероятнее, что удар, а не яд прекратил бурные дни Борисовы, к истинной скорби отечества: ибо сия безвременная кончина была небесною казнию для России еще более, нежели для Годунова: он умер по крайней мере на троне, не в узах пред беглым диаконом, как бы еще в воздаяние за государственные его благодеяния; Россия же, лишенная в нем Царя умного, попечительного, сделалась добычею злодейства на многие лета». [7, Т. 11, гл. II, стлб. 105]

Карамзин убежден, что Годунов мог бы спасти государство от самозванца. Историк документирует активные действия царя в этом направлении: меры в отношении церкви, представление свидетелей и строгость по отношению ко всем, кто упомянет Лжедмитрия. Почему же ему не удалось разоблачить самозванца и убедить народ в том, что он обманут? Почему народ встает на сторону Лжедмитрия? Карамзин объясняет этот факт тем, что люди не любили Годунова. Из-за отсутствия любви и признания со стороны населения все его старания были обречены и все благодеяния оставались без внимания.

В этом контексте проявляется представление о правильном властвовании, которое будет четко сформулировано позже (начиная с 1830-х годов). Карамзин в своей «Записке о древней и новой России» (1811 г.) отчасти предвосхищает его, говоря о постулате *самодержавия, православия и народности*. Он применяет эти понятия к годам правления Годунова, т. е. ко времени до возникновения известной теории. Самодержец, согласно концепции Ка-

рамзина, должен завоевать любовь народа, иначе ему не удержаться у власти. Пушкин позаимствует эту идею именно из концепции, предложенной Карамзиным. Писатель заставит своего героя страдать из-за отсутствия любви народа и в итоге развить в себе макиавеллистическое равнодушие к своим подданным (см. седьмая сцена, *Царские палаты*).

Образ Годунова, созданный Карамзиным, носит на себе явный отпечаток традиций летописания и агиографии XVII–XVIII вв., однако обнаруживает и некоторые особенности. Так как историк привлекает дополнительные источники, в том числе тексты иностранных очевидцев событий, впервые в описании Годунова находят свое отражение благородные стороны его личности (об этом подробнее ниже). Тем не менее изображение кончины царя в результате апоплексического удара, вызвавшего *кровотечение*, свидетельствует о преемственности этого мотива из исторических источников, которые, в свою очередь, вполне могут происходить из агиографической установки очернить государя. Карамзин подходит к этому традиционному образу с позиции своей новой системы оценивания.

Впервые статус Годунова как цареубийцы, или святоубийцы, как его именуют в агиографической традиции, станет оспаривать Михаил Погодин (1829 г.), которому, однако, не удастся убедить Пушкина, к тому времени уже написавшего, но еще не опубликовавшего свою пьесу.

3.

Итак, обратимся к наиболее известной литературной интерпретации фигуры Годунова — трагедии А.С. Пушкина. Как следствие близости произведения Пушкина к фактически единственному использованному исходному тексту «Истории государства Российского» уже у критиков-современников складывалось мнение о том, что литературный образ Годунова является лишь трансформацией карамзинского образа, реализованной посредством диалогической композиции драмы, т. е. трансформация заключалась лишь в смене типа и носителя текста. Они задавались вопросом, возможно ли вообще наличие в тексте Пушкина собственной идеи, собственной интерпретации образа Годунова, притом что пьеса настолько ограничена в художественном вымысле и в ней присутствует крайне мало сведений, не имевшихся изначально в произведении Карамзина. И все же в трагедии Пушкина наблюдаются два существенных отличия от текста Карамзина в изображении исторических фактов.

1) Пушкин иначе подходит к вопросу святости царевича Дмитрия — отказываясь от противоречивой позиции, которую занимает Карамзин, и превращая святость Дмитрия в предмет художественного вымысла. Писатель анахронистически использует в своем произведении мотив *святости* Дмитрия, фактически существующий только после 1606 года. Автор заставляет Годунова, который в свое время не мог иметь знания о канонизации царевича, столкнуться с понятием святости Дмитрия. Первое указание на святость наследника *непрямое* — оно выражено в высказывании Василия Шуйского,

изъяснвшегося в беседе с царем изощренными намеками. Шуйский призван развеять все сомнения Годунова в смерти царевича («Нет сомнения: Дмитрий во гробе спит»). Его рассказ о погибшем ребенке, окруженном убийцами:

Вокруг его тринадцать тел лежало,
 Растерзанных народом, и по ним
 Уж тление приметно проступало,
 Но детский лик царевича был ясен
 И свеж и тих, как будто усыпленный;
 Глубокая не запекалась язва,
 Черты ж лица совсем не изменились.

— становится для Годунова тяжелым ударом. В последующем монологе он говорит, что наконец может уяснить значение дурных снов, для чего прежде он хотел призвать толкователей.

Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
 Все снилось убитое дитя!
 Да, да — вот что! Теперь я понимаю.

Годунова поразило облеченное в изощренную форму повествование Шуйского о *нетленности* мощей Дмитрия, которая в агиологической традиции считается признаком святости. Годунов, зная, что является убийцей, не подозревал, что станет *святоубийцей*.

Пушкин избегает непоследовательности, которая характерна для Карамзина, однако отделяется при этом от исторической достоверности. Помимо анахронистического переноса мотива святости Дмитрия во времена правления Годунова, писатель связывает это представление с мотивом суеверности: историческое жизнеописание, основанное на нем «Иное сказание», а также текст Карамзина изображают *регента* Годунова, вопрошающего провидцев о своих перспективах восхождения на престол. У Пушкина *царь* Годунов пытается найти ключ к загадке своих видений с помощью толкователей снов (седьмая сцена, *Царские палаты*). Лишь когда Шуйский дает Годунову понять, что Дмитрий святой, государь осознает, что именно царевич является ему во снах. Любопытно, что композитор М.П. Мусоргский в своей опере «Борис Годунов» превратит *видения*, являвшиеся у Пушкина феноменом нуминозного характера, в психически обусловленные *галлюцинации*.

2) Пушкин раскрывает новое качество в личности Годунова, во второй раз используя анахронистическую модификацию относительно текста Карамзина. Автор упоминает о том, насколько велики во времена правления Годунова страдания представителей высшего боярства, давно потерявших свои княжества (Воротынский, первая сцена). Самые древние боярские династии «заточены, замучены в изгнание» (Гаврила Пушкин, девятая сцена, *Москва. Дом Шуйского*). Наряду с этим исторически достоверным упоминанием возникает неисторический мотив, ставший важным сюжетным мотивом в пьесе Пушкина: следующим шагом, направленным

против бояр, Годунов планирует упразднение местничества как системы распределения должностей в зависимости от знатности рода, отраженной в Разрядных книгах. Институт местничества защищал права бояр в их отношениях с самодержцем, а также в условиях противостояния со стремительно развивавшимся сословием служилого дворянства. Пушкинский Годунов желает назначить Петра Басманова, представителя служилого сословия, воеводой и сам впервые заводит речь о бытующей системе как о «гибельном обычае»: «Пускай их спесь о местничестве тужит». Басманов с восхищением говорит о дне, «когда Разрядны книги с раздорами, с гордыней родословной пожрет огонь», а для него откроется новое «поприще», если Борис «сломит рог боярству родовому» (двадцатая сцена, *Москва. Царские палаты*).

Факт конфликта между Борисом Годуновым и боярами из-за противозаконного назначения Басманова воеводой исторически достоверен. Однако сведения о намерении Годунова упразднить местничество в исторических источниках не встречаются. Появление этого мотива является вторым анахронизмом, который позволил себе Пушкин. Как известно, местничество было отменено лишь в 1681 году при царе Федоре Алексеевиче, который, вероятно, распорядился о сожжении Разрядных книг, подобно тому, как предвидел Басманов в трагедии Пушкина.

Интерпретация исторических событий происходит у Пушкина прежде всего через интерпретацию образа заглавного героя. В центре его концепции находится сопоставление Годунова с двумя великими русскими царями.

С одной стороны, в пушкинской драме Годунов выступает как второй Иван IV. Замысел автора сопоставить обоих царей становится очевидным в описании их методов правления. Это сходство напрямую выражено словами воеводы Гаврилы Пушкина: «Он правит нами, как царь Иван» (девятая сцена, *Москва. Дом Шуйского*). По сравнению с репрессивными мерами времен Опричнины, правление Годунова менее жестоко («Явных казней нет»). Однако фактически при его царствовании принцип опричнины воссоздается. Существование системы доносов иллюстрируется в эпизодах со слугами Шуйского (девятая и десятая сцены), а также подтверждается речью пленного Рожного (сцена *Севск*). Годунов состоит в родственных отношениях с предводителем опричнины, Малютой Скуратовым («Зять палача и сам в душе палач» — первая сцена, *Кремлевские палаты*). Появляется также «новый Скуратов» (по выражению Карамзина) — Семен Годунов.

Сопоставление царя Ивана и царя Бориса возможно также не в последнюю очередь благодаря появлению в составе персонажей вымышленного сына князя Андрея Курбского. В пьесе Пушкина Курбский-младший выступает против непрямого наследника царя Ивана. Роль вымышленного персонажа заключается в том, чтобы продолжить сопоставительный ряд — известную историю пару оппо-

нентов «Курбский-старший – Иван IV» дублирует у Пушкина оппозиция «Курбский-младший – Борис Годунов» – и вновь сравнить царей Ивана и Бориса.

С другой стороны, образ Годунова приближается к образу его великого последователя на русском престоле, царя Петра I. Связь образов обоих правителей обеспечивается у Пушкина вымышленным мотивом – инициативой Годунова упразднить местничество. В этом намерении государя Пушкин увидел аналог дворянской реформы, организованной Петром, как категоричной меры борьбы против эксклюзивных прав и привилегий старого дворянства и символа превосходства служилых дворян над потомственными. Отмена местничества видится писателю прообразом сословной реформы, которую он считает вторым по величине достижением Петра, как известно, остававшимся неоднозначным в глазах самого царя. Другой точкой соприкосновения образов Пушкину видится контрреволюционная политика великого Романова – первое по значимости достижение Петра. Годунов становится прототипом того Петра I, который направил Россию по пути цивилизации и европеизации. Впервые подобными попытками преобразований отличился именно Борис Годунов. Его интерес к науке и реформаторские замыслы подробно документирует Карамзин [7, Т. XI, гл. I, стлб. 52]. В планы Годунова входили строительство школ, основание университета, организация путешествий молодежи за границу с целью обучения и приглашение иностранных специалистов в Россию. О Федоре, сыне царя, Карамзин упоминает как об одном из первых молодых людей, получивших образование в Западной Европе. В начале 10-й сцены (*Царские палаты*) Годунов побуждает его к *учению*. Аллюзия на известную историю карту великой Российской империи («наше царство из края в край») в очередной раз отображает связь образов Годунова и Петра I, поклонника картографии.

Таким образом, пушкинский образ Бориса Годунова можно рассматривать одновременно как образ последователя и предшественника: с одной стороны, Годунов – второй Иван IV, с другой – прототип Петра I. Он сочетает в себе черты Ивана IV, восходящие к средневековым традициям, и стремление прорыва к новому будущему, характерное для Петра I. Благодаря этому фигура Годунова предстает перед нами идеальным образом переходного состояния. Годунов связывает две династии и две эпохи. Двойственность его образа – идеальное воплощение противоречий Смутного Времени, периода перехода от средневекового государства к новой России.

Примечания:

¹ С точки зрения хронологии событий Карамзин обращается к мотиву суеверности в соответствии с летописями: после убийства царевича регент желает получить предсказание о перспективах его восхождения на престол. На изречение провидцев о том, что ему предстоит править лишь семь лет, Годунов восклицает, что главное, что ему суждено стать царем, пусть и на семь дней (Т. X, гл. II, об. 74, с прим. 221). Карамзин дискредитирует свидетельство «фантазирующего» хрониста (Прим. 221, «Морозовский летописец»), обозначая его как «сомнительное», хотя видит в нем указание на жадность Годунова.

² О видениях Карамзин кратко и без интереса упоминает в примечаниях [7, Т. X, прим. 372]. Пушкин, обращавшийся к «Повести о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича вся Руси» [13, с. 16 и др.], вложит ее строки в уста монаха Пимена.

³ В позднем «Морозовском летописце» в эпизоде признания убийц вновь прослеживается мотив искусителя – Годунова называют «прелестником».

⁴ Ср., напр., Т. X, гл. III, стлб. 129 («За семь лет пред тем смело вонзав убийственный нож в гортань *св. младенца* Дмитрия, чтобы похитить корону», 1598), Т. XI, гл. II, об. 106 («Не он ли, наконец, более всех содействовал уничтожению престола, воссев на нем *святоубийцею?*»).

⁵ Это указание отсутствует, однако, как уже упоминалось, даже в иностранных источниках. При анализе ссылок, которые дает Карамзин [7, Т. XI, гл. II, прим. 304] встает вопрос о том, не восходит ли этот мотив к письму Лжедмитрия. Среди известных источников упоминание о кровотечении встречается лишь у Жака Огюста де Ту [6, с. 334].

Библиографический список

1. Собрание государственных грамот и договоров. Ч. 2. М., 1819. С. 300–324.
2. Рудаков А.А. Развитие легенды о смерти Дмитрия в Угличе // Исторические записки 1941. № 12. С. 254–283.
3. Буганов В.И., Корецкий В.И., Станиславский А.Л. «Повесть како отомсти» – памятник ранней публицистики Смутного времени // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 28. 1974. С. 231–254. Перераб. текст С. 241–254.
4. Повесть како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов // Русская историческая библиотека. Т. 13. СПб., 1891. Стлб. 145–176.
5. Bussow C. Zeit der Wirren. Moskowitzische Chronik der Jahre 1584 bis 1613. Leipzig, 1991.
6. Устрялов Н.Г. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. I–IV, СПб., 1831–34; 3-е изд. Ч. 1. СПб., 1859.
7. Карамзин Н.М. История государства Российского. Книга III, т. IX, X, XI, XII; СПб., 1845. Т. XI, гл. II.
8. Державина О.А. Рукописи, содержащие рассказ о смерти царевича Дмитрия Угличского // Записки отдела рукописей (ГБЛ). Вып. 15, 1953. С. 78–118.
9. Так называемое Иное сказание // Русская историческая библиотека. Т. XIII, СПб. 1891. Стлб. 1–144 (Переизд. 1907; 2-е изд., СПб., 1909; 3-е изд. Л., 1925).
10. Margeret J. Etat de l'Empire de Russie. Paris, 1669.
11. Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14/1. СПб., 1910. С. 23–154.
12. Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства. СПб., 1771.
13. Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича вся Руси // Полное собрание русских летописей. Т. 14/1. СПб., 1910. С. 1–22.
14. Текст Тулупова в Русской исторической библиотеке. Т. 13. СПб., 1891. С. 877–898.

References

1. Sbornie gosudarstvennykh gramot i dogovorov. Ch. 2 [Collection of state documents and agreements. Part 2]. M., 1819, pp. 300–324 [in Russian].

2. Rudakov A.A. Razvitiye legendy o smerti Dmitriia v Ugliche [Development of legend about the death of Dmitry in Uglich]. Istoricheskie zapiski [Historical notes], 1941, no. 12, pp. 254–283 [in Russian].
3. Buganov V.I., Koreckii V.I., Stanislavskii A.L. «Povest' kako otomsti» – pamiatnik rannei publitsistiki Smutnogo vremeni [«Povest' kako otomsti» – monument of early publicistic writing of the Time of Troubles]. Trudy otdela drevnerusskoi literatury [Proceedings of the Department of Old Russian literature], Vol. 28, 1974, pp. 231–254. Revised text pp. 241–254 [in Russian].
4. Povest' kako voskhiti nepravdoiu na Moskve tsarskii prestol Boris Godunov. In: Russkaia istoricheskaia biblioteka [Russian Historical Library], Vol. 13. SPb, 1891. Column 145–176 [in Russian].
5. Bussow C. Zeit der Wirren. Moskowitzische Chronik der Jahre 1584 bis 1613. Leipzig, 1991 [in German].
6. Ustryalov N.G. Skazaniia sovremennikov o Dmitrii Samozvantse. I–IV [Legendries of contemporaries about the False Demetrius. I–IV]. SPb, 1831–34, 3rd edition, Part 1. SPb., 1859 [in Russian].
7. Karamzin N.M. Istorii gosudarstva Rossiiskogo. Kniga III, t. IX, X, XI, XII [The History of Russian State. Book III, Vols. IX, X, XI, XII]. Saint-Petersburg, 1845, Vol. XI, Chapter II [in Russian].
8. Derzhavina O.A. Rukopisi, soderzhashchie rasskaz o smerti tsarevicha Dmitriia Uglitskogo [Manuscripts containing the story about the death of tsarevitch Dmitriy of Uglich]. In: Zapiski otdela rukopisei (GBL) [Notes of the Department of Manuscripts (GBL)], Issue 15, 1953, pp. 78–118 [in Russian].
9. Tak nazyvaemoe Inoe skazanie [The so-called Alternate story]. In: Russkaia istoricheskaia biblioteka [Russian Historical Library], Vol. XIII. SPb, 1891, Column 1–144 (Reedition 1907; 2nd edition. SPb. 1909; 3rd edition. L. 1925) [in Russian].
10. Margeret J. Estat de l'Empire de Russie. Paris, 1669 [in French].
11. Novyi letopisets [New chronicler]. In: Polnoe sobranie russkikh letopisei [Full collection of Russian chronicles], Vol. 14/1. SPb., 1910, pp. 23–154 [in Russian].
12. Letopis' o mnogikh miatezhakh i o razorenii Moskovskogo gosudarstva [Chronicle on many rebellions and on destruction of Muscovite state]. SPb., 1771 [auf Russisch].
13. Povest' o chestnom zhitii tsaria i velikogo kniazia Fedora Ivanovicha vsia Rusi [The Tale on the Honest Life of the Tsar and Grand Duke Fyodor Ivanovich of All Russia]. In: Polnoe sobranie russkikh letopisei [Full collection of Russian chronicles], Vol. 14/1. SPb., 1910, pp. 1–22 [in Russian].
14. Tekst Tulupova v Russkoi istoricheskoi biblioteke [Text of Tulupov in Russian Historical Library], Vol. 13. SPb, 1891, pp. 877–898 [in Russian].

*Andreas Ebbinghaus**

IMAGE OF BORIS GODUNOV IN RUSSIAN HISTORICAL TRADITION

This article analyzes aspects of representation of Boris Godunov in Russian historiography since the early seventeenth century. We first document the influence of medieval historical thinking (for example, the opposition between the martyred prince Boris and Sviatopolk) and of hagiography (life of St. Dmitriy of Uglich). This influence can be seen on the level of historiographical concepts (for example, the interpretation of the image of the False Dmitry as the historical revenge for the murder of the tsarevitch Dmitriy), but also on the level of representation of historical facts (for example, the circumstances of Boris Godunov's death). Finally, we examine how Karamzin's History of Russian State and Puskin's Boris Godunov treat previous depictions of Godunov.

Key words: Boris Godunov, «History of Russian State», tsarevitch Dmitriy Ivanovich, False Dmitry, hagiography, historiography, «Alternate story», Time of Troubles, Pushkin.

Статья поступила в редакцию 20/VIII/2017.
The article received 20/VIII/2017.